



**Вл. С. СОЛОВЬЕВ**

**Три разговора (1899)**

\* \* \*

В саду одной из трех вилл, что, теснясь у подножия Альп, глядят в лазурную глубину Средиземного моря, случайно сошлись эту весною пятеро русских: старый боевой генерал; «муж совета», отдыхающий от теоретических и практических занятий государственными делами, — я буду называть его политиком; молодой князь, моралист и народник, издающий разные, более или менее хорошие, брошюры по нравственным и общественным вопросам; дама средних лет, любопытная ко всему человеческому, и еще один господин неопределенного возраста и общественного положения — назовем его г-[н] Z. Я безмолвно присутствовал при их беседах, некоторые показались мне занимательными, и я тогда же по свежей памяти записал их. Первый разговор начался в мое отсутствие по поводу какой-то газетной статьи или брошюры насчет того литературного похода против войны и военной службы, что по следам гр. Толстого ведется ныне баронессою Зутнер и м-ром Стэдом<sup>1</sup>. «Политик» на вопрос дамы, что он думает об этом движении, назвал его благонамеренным и полезным; генерал вдруг на это рассердился и стал злобно глумиться над теми тремя писателями, называя их истинными столпами государственной премудрости, путеводным созвездием на политическом небосклоне и даже тремя китами русской земли, на что политик заметил: ну и другие рабы найдутся. Это привело почему-то в восхищение г-на Z, который заставил, по его словам, обоих противников единомысленно исповедать, что они действительно считают кита за рыбу, и даже будто бы дать сообща определение тому, что такое рыба, а именно: животное, принадлежащее частью к морскому ведомству, частью же к департаменту водяных сооб-

щений. Думаю, впрочем, что это выдумал сам г-[н] Z. Как бы то ни было, мне не удалось восстановить как следует начало разговора. Сочинять из своей головы по образцу Платона<sup>2</sup> и его подражателей я не решился и начал свою запись с тех слов генерала, которые я услышал, подходя к беседающим.

## РАЗГОВОР ПЕРВЫЙ

Audiat et p r i m a pars<sup>3</sup>.

Г е н е р а л (*взволнованный, говорит, вставая и снова садясь, и с быстрыми жестами*). Нет, позвольте! Скажите мне только одно: существует теперь или нет х р и с т о л ю б и в о е и д о с т о с л а в н о е р о с с и й с к о е в о и н с т в о? Да или нет?

П о л и т и к (*растянувшись на шезлонге, говорит тоном, напоминающим нечто среднее между беззаботными богами Эпикура, прусским полковником и Вольтером*). Существует ли русская армия? Очевидно, существует. Разве вы слышали, что она упразднена?

Г е н е р а л. Ну, не притворяйтесь же! Вы отлично понимаете, что я не про это говорю. Я спрашиваю, имею ли я теперь право по-прежнему почитать существующую армию за достославное христоролюбивое воинство, или это название уже более не годится и должно быть заменено другим?

П о л и т и к. Э... так вот вы о чем беспокоитесь! Ну, с этим вопросом вы не туда адресовались; обратитесь лучше в департамент герольдии — там ведь разными титулами заведуют.

Г - [ н ] Z. (*говорит как будто с затаенною мыслью*). А департамент герольдии на такой запрос генерала ответит, вероятно, что употребление прежних титулов законом не возбраняется. Разве последний принц Лузиньян не назывался беспрепятственно королем Кипрским, хотя он не то что Кипром управлять, а и вина-то кипрского пить не мог по своему телесному и имущественному состоянию? Так почему же и современной армии не титуловаться христоролюбивым воинством?

Г е н е р а л. Титуловаться! Так белое и черное — титул? Сладкое и горькое — титул? Герой и подлец — титул?

Г - [ н ] Z. Да ведь я это не от себя, а от лица мужей, блюдущих законы.

Д а м а (*к политику*). Зачем вы останавливаетесь на выражениях? Наверное, генерал хотел что-нибудь сказать своим «христоролюбивым воинством».

Г е н е р а л. Благодарю вас. Я хотел и хочу сказать вот что. Спокон веков и до вчерашнего дня всякий военный человек — солдат или фельдмаршал, все равно — знал и чувствовал, что он служит делу важному и хорошему — не полезному только или нужному, как полезна, например, ассенизация или стирка белья, а в высоком смысле хорошему, благородному, почетному делу, которому всегда служили самые лучшие, первейшие люди, вожди народов, герои. Это наше дело всегда освящалось и возвеличивалось в церквах, прославлялось всеобщей молвою. И вот в одно прекрасное утро мы вдруг узнаем, что все это нам нужно забыть и что мы должны понимать себя и свое место на свете Божиим в обратном смысле. Дело, которому мы служили и гордились, что служим, объявлено делом дурным и пагубным, оно противно, оказывается, Божьим заповедям и человеческим чувствам, оно есть ужаснейшее зло и бедствие, все народы должны против него соединиться, и его окончательное уничтожение есть только вопрос времени.

К н я з ь. Неужели вы, однако, раньше не слышали никаких голосов, осуждающих войну<sup>4</sup> и военную службу как остаток древнего людоедства?

Г е н е р а л. Ну как не слышать? И слышал, и читал на разных языках! Но ведь все эти ваши голоса были для нашего брата — извините за откровенность — не из тучи гром: услышал и забыл. Ну а теперь дело совсем другого рода: мимо не пройдешь. Так вот я и спрашиваю, как нам теперь быть? Чем я, то есть всякий военный, должен себя почитать и как на самого себя смотреть: как на настоящего человека или как на изверга естества? Должен ли я себя уважать за свою посильную службу доброму и важному делу или ужасаться этого своего дела, каяться в нем и смиренно умолять всякого штатского простить мне мое профессиональное окаянство?

П о л и т и к. Что за фантастическая постановка вопроса! Как будто от вас стали требовать чего-то особенного. Новые требования обращены не к вам, а к дипломатам и другим «штатским», которые очень мало интересуются вашим «окаянством», как и вашу «христоробивость». А к вам, как прежде, так и теперь, — только одно требование: исполнять беспрекословно приказания начальства.

Г е н е р а л. Ну, так как вы не интересуетесь военным делом, то натурально и имеете о нем, по вашему выражению, «фантастическое» представление. Вы не знаете, как видно, и того, что в известных случаях приказание начальства только в том и состоит, чтобы не ждать и не спрашивать его приказаний.

П о л и т и к. А именно?

Г е н е р а л. А именно, представьте себе, например, что я волею начальства поставлен во главе целого военного округа. Значит, мне тем самым приказано всячески руководить вверенными мне войсками, поддерживать и укреплять в них известный образ мыслей, действовать в определенном направлении на их волю, настраивать на известный лад их чувства — одним словом, воспитывать их, так сказать, в смысле их назначения. Прекрасно. Для этой цели мне предоставлено, между прочим, отдавать по войскам моего округа общие приказы от моего имени и под мою личную ответственность. Ну, так если бы отнесся к высшему начальству с тем, чтобы оно диктовало мне мои приказы или хоть предписывало, в каком направлении мне их писать, так разве не получил бы я на это в первый раз «старого дурака», а во второй — чистой отставки? Это значит, что я сам должен действовать на свои войска в известном духе, который, предполагается, заранее и раз и навсегда одобрен и утвержден высшим начальством, так что и спрашивать об этом было бы или глупостью, или дерзостью. А вот теперь-то этот самый «известный дух», который был, в сущности, один и тот же от Саргона и Ассурбанипала до Вильгельма II<sup>5</sup>, — он-то вдруг и оказывается под сомнением. До вчерашнего дня я знал, что я должен поддерживать и укреплять в своих войсках не другой какой-нибудь, а именно б о е в о й дух — готовность каждого солдата бить врагов и самому быть убитому, для чего непременно нужна полная уверенность в том, что война есть дело святое. И вот у этой-то уверенности отнимается ее основание, военное дело лишается своей, как это говорят по-ученому, «нравственно-религиозной санкции».

П о л и т и к. Это все ужасно преувеличено. Никакого такого радикального переворота во взглядах не замечается. С одной стороны, и прежде всегда все знали, что война есть зло и что чем меньше ее, тем лучше, а, с другой стороны, все серьезные люди и теперь понимают, что это есть такого рода зло, которого полное устранение в настоящее время еще невозможно. Значит, дело идет не об уничтожении войны, а об ее постепенном и, может быть, медленном введении в теснейшие границы. А принципиальный взгляд на войну остается тот же, что и был всегда: неизбежное зло, бедствие, терпимое в крайних случаях.

Г е н е р а л. И только-то?

П о л и т и к. Только.

Г е н е р а л (*вскакивая с места*). А что, вы в святцы заглядывали когда-нибудь?

П о л и т и к. То есть в календарь? Приходилось справлять-ся, например, насчет именинниц и именинников.

Г е н е р а л. А заметили вы, какие там святые помещены?

П о л и т и к. Святые бывают разные.

Г е н е р а л. Но какого звания?

П о л и т и к. И звания разного, я думаю.

Г е н е р а л. Вот то-то и есть, что не очень разного.

П о л и т и к. Как? Неужели только одни военные?

Г е н е р а л. Не только, а наполовину.

П о л и т и к. Ну, опять какое преувеличение!

Г е н е р а л. Мы ведь не перепись им поголовную делаем для статистики. А я только утверждаю, что все святые собственно нашей русской Церкви принадлежат лишь к двум классам: или монахи разных чинов, или князья, то есть по старине, значит, непременно военные, и никаких других святых у нас нет — разумею святых мужского пола. Или монах, или воин.

Д а м а. А юродивых вы забыли?

Г е н е р а л. Нисколько не забыл! Но юродивые — ведь это своего рода иррегулярные монахи<sup>6</sup>. Что казаки для армии, то юродивые для монашества. А затем, если вы мне найдете между русскими святыми хоть одного белого священника, или купца, или дьяка, или приказного, или мещанина, или крестьянина — одним словом, какой бы то ни было профессии, кроме монахов и военных, — берите себе все то, что я в будущее воскресенье привезу из Монте-Карло.

П о л и т и к. Спасибо. Оставляю вам ваши сокровища и вашу половину святцев, а то и все целиком. Но только объясните мне, пожалуйста, что же, собственно, вы хотели вывести из вашего открытия или наблюдения? Неужели то, что одни монахи и военные могут быть нравственными образцами?

Г е н е р а л. Не совсем угадали. Я сам знал высокодобродетельных людей и между белыми священниками, и между банкирами, и между чиновниками, и между крестьянами, а самое добродетельное существо, которое я могу припомнить, была нянюшка у одного из моих знакомых. Но мы ведь не об этом. Я к тому о святых сказал, что каким бы образом могло туда попасть столько воинов наряду с монахами и предпочтительно перед всеми мирными, гражданскими профессиями, если бы всегда смотрели на военное дело как на терпимое зло вроде питейной торговли или чего-нибудь еще худшего? Ясно, что христианские народы, по мысли которых святцы-то делались (ведь не у одних русских так, а приблизительно то же и у других), не только уважали, но еще особенно уважали военное звание и изо всех мир-

ских профессий только одну военную считали воспитывающей, так сказать, своих лучших представителей для святости. Вот этот-то взгляд и несовместим с теперешним походом против войны.

**П о л и т и к.** Да разве я говорил, что нет никакой перемены? Некоторая желательная перемена происходит несомненно. Религиозный ореол, который окружал войны и военных в глазах толпы, теперь снимается — это так. Но ведь к этому дело шло уже давно. И кого же это практически-то задевает? Разве духовенство, так как изготовление а у р е л о в<sup>7</sup> в его ведомстве. Ну, придется кой-что почистить с этой стороны. Чего нельзя похерить, истолкуют в смысле иносказательном, а прочее подвергнут благоумолчанию и благозабвению.

**К н я з ь.** Да уж и начались благоприспособления. Я для своих изданий слежу за нашей духовной литературой. Так уж в двух журналах имел удовольствие прочесть, что христианство безусловно осуждает войну.

**Г е н е р а л.** Не может быть!

**К н я з ь.** Я и сам глазам не поверил. Могу показать.

**П о л и т и к** (*к генералу*). Вот видите! Ну а для вас-то тут какая забота? Вы ведь люди дела, а не благоглаголения. Профессиональное самолюбие, что ли, и тщеславие? Так ведь это нехорошо. А практически, повторяю, все для вас остается по-прежнему. Хотя система милитаризма, от которой вот уже тридцать лет никому вздохнуть нельзя, должна теперь исчезнуть, но войска в известных размерах остаются; и поскольку они будут допущены, т[о] е[сть] признаны необходимыми, от них будут требоваться те же самые боевые качества, что и прежде.

**Г е н е р а л.** Да, уж вы мастера просить молока от мертвого быка! Кто же вам даст эти требуемые боевые качества, когда первое боевое качество, без которого все другие ни к чему, состоит в бодрости духа, а она держится на вере в святость своего дела. Ну а как же это может остаться, если будет признано, что война есть злодейство и губительство, лишь по неизбежности терпимое в крайних случаях?

**П о л и т и к.** Но ведь от военных такого признания вовсе и не требуется. Пусть считают себя первыми людьми в свете, какое кому до этого дело? Ведь уж вам объясняли, что принцу Лузиньяну позволено признавать себя королем Кипрским, лишь бы он у нас денег на кипрское вино не просил. Не покушайтесь только на наш карман больше чем следует, а затем будьте в своих глазах солью земли и красою человечества — кто вам меша-ет?

Г е н е р а л. «Будьте в своих глазах!» Да что мы, на луне, что ли, разговариваем? В торричеллиевой пустоте<sup>8</sup>, что ли, вы будете держать военных людей, чтоб до них не доходили никакие посторонние влияния? И это при всеобщей-то воинской повинности, при краткосрочной-то службе, при дешевых-то газетах! Нет, дело уж слишком ясно. Раз военная служба стала вынужденною повинностью для всех и каждого и раз во всем обществе, начиная с представителей государства, как вот вы, например, устанавливается новый, отрицательный взгляд на военное дело, это взгляд непременно уж будет усвоен и самими военными. Если на военную службу все, начиная с начальства, станут смотреть как на неизбежное п о к у д а зло, то, во-первых, никто не станет добровольно избирать военную профессию на всю жизнь, кроме разве какого-нибудь отресья природы, которому больше деваться некуда; а, во-вторых, все те, кому поневоле придется нести временную военную повинность, будут нести ее с теми чувствами, с которыми каторжники, прикованные к своей тачке, несут свои цепи. Извольте при этом говорить о боевых качествах и о военном духе!

Г - [ н ] З. Я всегда был уверен, что после введения всеобщей воинской повинности упразднение войск, а затем и отдельных государств есть только вопрос времени, и времени, не слишком уж отдаленного при теперешнем ускоренном ходе истории.

Г е н е р а л. Может быть, вы правы.

К н я з ь. А я даже полагаю, что вы, наверно, правы, хотя это мне до сих пор не приходило в голову в таком виде. Но ведь это превосходно! Подумайте только: милитаризм порождает как свое крайнее выражение систему всеобщей воинской повинности, и вот благодаря именно этому гибнет не только новейший милитаризм, но и все древние основы военного строя. Чудесно.

Д а м а. У князя даже лицо посветлело. Это хорошо. А то ходил всегда такой угрюмый — совсем не подобает «истинному христианину».

К н я з ь. Да уж слишком много грустного кругом; одна вот только радость остается: мысль о неизбежном торжестве разума наперекор всему.

Г - [ н ] З. Что милитаризм в Европе и в России съедает само себя — это несомненно. А какие отсюда произойдут радости и торжества — это еще увидим.

К н я з ь. Как? Вы сомневаетесь в том, что война и военщина — б е з у с л о в н о е и к р а й н е е з л о, от которого человечество должно н е п р е м е н н о и с е й ч а с ж е избавиться? Вы сомневаетесь, что полное и немедленное уничтожение

этого людоедства было бы во всяком случае торжество разума и добра?

Г - [ н ] З. Да, я совершенно уверен в протином.

К н я з ь. То есть это в чем же?

Г - [ н ] З. Да, в том, что война не есть безусловное зло и что мир не есть безусловное добро, или, говоря проще, что возможна и бывает х о р о ш а я война, возможен и бывает д у р н о й мир.

К н я з ь. А! Теперь я вижу разницу между вашим взглядом и взглядом генерала: он ведь думает, что война всегда хорошее дело, а мир — всегда дурное<sup>9</sup>.

Г е н е р а л. Ну, нет! И я отлично понимаю, что война может быть иногда очень плохим делом, именно когда нас бьют, как, например, под Нарвой или Аустерлицем, и мир может быть прекрасным делом, как, например, мир Ништадтский или Кучук-Кайнарджийский<sup>10</sup>.

Д а м а. Это, кажется, вариант знаменитого изречения того кафра или готтентота<sup>11</sup>, который говорил миссионеру, что он отлично понимает разницу между добром и злом: добро — это когда я уведу чужих жен и коров, а зло — когда у меня уведут моих.

Г е н е р а л. Да ведь это мы с африканцем-то вашим только состригли: он нечаянно, а я нарочно. А вот теперь хотелось бы послушать, как умные люди вопрос о войне с нравственной точки зрения обсуждать будут.

П о л и т и к. Ах! Лишь бы только наши «умные люди» не примешали какой-нибудь схоластики и метафизики к такому ясному, исторически обусловленному вопросу.

К н я з ь. Ясному с какой точки зрения?

П о л и т и к. Моя точка зрения — обыкновенная, европейская, которую, впрочем, теперь и в других частях света усвоят понемногу люди образованные.

К н я з ь. А сущность ее, конечно, в том, чтобы признавать все относительным<sup>12</sup> и не допускать безусловной разницы между должным и недолжным, хорошим и дурным. Не так ли?

Г - [ н ] З. Виноват. Это пререkanie для нашего вопроса, пожалуй, бесполезно. Я вот, например, вполне признаю безусловную противоположность между нравственным добром и злом, но вместе с тем мне совершенно ясно, что война и мир сюда не подходят, что окрасить войну сплошь одною черною краскою, а мир — одною белою никак невозможно.

К н я з ь. Но ведь это не внутреннее противоречие! Если то, что само по себе дурно, например убийство, может быть хорошо в

известных случаях, когда вам угодно называть его войною, то куда же денется безусловное-то различие добра и зла?

Г - [ н ] З. Как это просто: «Всякое убийство есть безусловное зло; война есть убийство; следовательно, война есть безусловное зло». Силлогизм — первый сорт. Только вы забыли, что обе ваши посылки, и большая и малая, еще должны быть доказаны, а следовательно, и заключение еще висит пока в воздухе.

П о л и т и к. Ну разве я не говорил, что мы попадем в схоластику?

Д а м а. Да про что, собственно, они толкуют?

П о л и т и к. Про какие-то большие и малые посылки.

Г - [ н ] З. Простите! Мы сейчас к делу подойдем. Так вы утверждаете, что во всяком случае убить, то есть отнять жизнь у другого, есть безусловное зло?

К н я з ь. Без сомнения.

Г - [ н ] З. Ну а быть убитым — безусловное это зло или нет?

К н я з ь. По-готтентотски — разумеется, да. Но ведь мы говорили про нравственное зло, а оно может заключаться лишь в собственных действиях разумного существа, которые от него самого зависят, а не в том, что с ним случается помимо его воли. Значит, быть убитым — все равно как умереть от холеры или от инфлуэнцы, не только не есть безусловное зло, но даже вовсе не есть зло. Этому нас еще Сократ<sup>13</sup> и стоики научили.

Г - [ н ] З. Ну, за людей столь древних я не берусь отвечать. А ваша-то вот безусловность при нравственной оценке убийства как будто хромает: ведь, по-вашему, выходит, что безусловное зло состоит в причинении другому чего-то такого, что вовсе не есть зло. Воля ваша, а тут что-то хромает. Однако мы эту хромоту бросим, а то, пожалуй, в самом деле в схоластику залезем. Итак, при убийстве зло состоит не в физическом факте лишения жизни, а в нравственной причине этого факта, именно в злой воле убивающего<sup>14</sup>. Так ведь?

К н я з ь. Ну конечно. Да ведь без этой злой воли и убийства не бывает, а бывает или несчастье, или неосторожность.

Г - [ н ] З. Это ясно, когда воли убивать вовсе не было, например при неудачной операции. Но ведь можно представить и другого рода положение, когда воля хотя и не имеет своею прямою целью лишить жизни человека, однако заранее соглашается на это как на крайнюю необходимость, — будет ли и такое убийство безусловным злом, по-вашему?

К н я з ь. Да, конечно, будет, раз воля согласилась на убийство.

Г - [ н ] З. А разве не бывает так, что воля, хотя и согласна на убийство, не есть, однако, з л а я воля и, следовательно, убий-

ство не может здесь быть безусловным злом даже с этой, субъективной, стороны?

**К н я з ь.** Ну, это уж совсем что-то непонятное... А! Впрочем, догадываюсь: вы разумеете тот знаменитый случай, когда в пустынном месте какой-нибудь отец видит разъяренного мерзавца, который бросается на его невинную (для большего эффекта прибавляют еще малолетнюю) дочь, чтобы совершить над нею гнусное злодеяние, и вот несчастный отец, не имея возможности иначе защитить ее, убивает обидчика. Тысячу раз слышал этот аргумент.

**Г - [ н ] З.** Замечательно, однако, не то, что вы тысячу раз его слышали, а то, что никто ни одного раза не слышал от ваших единомышленников дельного или хоть сколько-нибудь благовидного возражения на этот простой аргумент.

**К н я з ь.** Да на что же тут возражать?

**Г - [ н ] З.** Вот, вот! Ну, если не хотите в форме возражения, то докажите каким-нибудь прямым и положительным образом, что во всех случаях без исключения, следовательно и в том, о котором у нас речь, воздержаться от сопротивления злу силою, безусловно, лучше, нежели употребить насилие с риском убить злого и вредного человека.

**К н я з ь.** Да какое же тут может быть о с о б о е доказательство для единичного случая? Раз вы признали, что вообще убийство есть в нравственном смысле зло, то ясно, что и во всяком единичном случае оно будет также зло.

**Д а м а.** Ну, это слабо.

**Г - [ н ] З.** Это даже очень слабо, князь. Ведь о том, что в о о б щ е лучше не убивать, чем убивать, — об этом нет спора, в этом все согласны. А вопрос именно только об единичных случаях. Спрашивается: есть ли общее или общепризнанное право н е у б и в а т ь — действительно б е з у с л о в н о е и, следовательно, не допускающее н и к а к о г о исключения, ни в каком единичном случае и ни при каких обстоятельствах, или же оно допускает хоть одно исключение и, следовательно, уже не есть безусловное?

**К н я з ь.** Нет, я не согласен на такую формальную постановку вопроса. И к чему это? Положим, я допущу, что в вашем исключительном случае, нарочно выдуманном для спора...

**Д а м а (укоризненно).** А-ай!

**Г е н е р а л (иронически).** О-го-го!

**К н я з ь (не обращая внимания).** Допустим, что в вашем выдуманном случае убить лучше, чем не убивать, — в самом деле я этого, конечно, не допускаю, но, положим, что вы тут правы; по-

ложим даже, что ваш случай не выдуманный, а действительный, но как и вы согласитесь, совершенно редкий, исключительный. А ведь у нас дело идет о войне — явлении общем, всемирном; и не станете же вы утверждать, что Наполеон, или Мольтке, или Скобелев<sup>15</sup> находились в положении, сколько-нибудь похожем на положение отца, принужденного защищать от покушений изверга невинность своей малолетней дочери?

Д а м а. Вот это лучше прежнего. Bravo, mon prince!

Г - [ н ] Z. Действительно, ловкий скачок от неприятного вопроса. Но не позволите ли вы мне, однако, установить между этими двумя явлениями — единичным убийством и войною — их логическую, а вместе и историческую связь. А для этого сначала опять возьмем наш пример, но только без тех частных, которые как будто усиливают, а на самом деле ослабляют его значение. Не нужно тут ни отца, ни малолетней дочери, так как при них вопрос сейчас же теряет свое чисто этическое свойство из области разумно-нравственных чувств: родительская любовь, конечно, заставит этого отца убить злодея на месте, не останавливаясь на обсуждении вопроса, должен ли он и имеет ли право это сделать в смысле высшего нравственного начала. Итак, возьмем не отца, а бездетного моралиста, на глазах которого чужое и незнакомое ему слабое существо подвергается неистовому нападению дюжего злодея. Что же, по-вашему, этот моралист должен, скрепя руки, проповедовать добродетель, в то время как осата-невший зверь будет терзать свою жертву? Этот моралист, по-вашему, не почувствует в себе нравственного побуждения остановить зверя силою, хотя бы и с возможностью и даже вероятностью убить его? И если он вместо того допустит злодеянию совершиться под аккомпанемент его хороших слов, что же, по-вашему, совесть не будет упрекать его и не будет ему стыдно до отвращения к самому себе?

К н я з ь. Может быть, все, что вы говорите, будет ощущаться моралистом, не верящим в действительность нравственного порядка или забывшим, что Бог не в силе, а в правде.

Д а м а. И это очень хорошо сказано. Ну, что-то вы теперь ответите?

Г - [ н ] Z. Я отвечу, что желал бы, чтобы это было сказано еще лучше, а именно прямее, проще и ближе к делу. Вы ведь хотели сказать, что моралист, действительно верящий в правду Божию, должен, не останавливая злодея силою, обратиться к Богу с молитвою, чтобы злое дело не совершилось: или через чудо нравственное — внезапное обращение злодея на путь истинный, или чрез чудо физическое — внезапный паралич, что ли...

Д а м а. Можно и без паралича: разбойник может быть чем-нибудь испуган или вообще как-нибудь отвлечен от своего замысла.

Г - [ н ] З. Ну это-то все равно, потому что чудо ведь не в самом происшествии, а в целесообразной связи этого происшествия, будь то телесный паралич или душевное какое-нибудь волнение, с молитвою и ее нравственным предметом. Во всяком случае, предлагаемый князем способ помешать злему делу сведется все-таки к молитве о чуде.

К н я з ь. Ну... то есть... почему же к молитве... и к чуду?

Г - [ н ] З. А то к чему же?

К н я з ь. Но раз я верю, что мир управляется добром и разумным началом жизни, я верю и тому, что в мире может происходить только то, что согласно с этим, то есть с волею Божией.

Г - [ н ] З. Виноват! Вам сколько лет?

К н я з ь. Что значит этот вопрос?

Г - [ н ] З. Ничего обидного, уверяю вас. Лет тридцать-то будет?

К н я з ь. Ну, побольше будет.

Г - [ н ] З. Так вам, наверное, приходилось видеть, а не видеть, так слышать, а не слышать, так читать в газетах, что злые-то или безнравственные дела совершаются все-таки на сем свете.

К н я з ь. Ну?

Г - [ н ] З. Ну так как же? Значит, «нравственный порядок», или правда, или воля Божия, очевидно, сами собою в мире не осуществляются...

П о л и т и к. Вот наконец на дело похоже. Если зло существует, то, значит, боги или не могут, или не хотят ему помешать, а в обоих случаях богов как всемогущих и благих сил вовсе нет. Старо, но верно.

Д а м а. Ах, что это вы!

Г е н е р а л. Вот ведь до чего договорились. «Пофилософствуй, ум вскружится!»<sup>16</sup>

К н я з ь. Ну, это плохая философия! Как будто Божья воля связана с какими-нибудь представлениями о добре и зле!

Г - [ н ] З. С к а к и м и-н и б у д ь представлениями не связана, но с истинным понятием добра связана теснейшим образом. Иначе если добро и зло вообще безразличны для Божества, то вы сами себя опровергли окончательно.

К н я з ь. Почему это?

Г - [ н ] З. Да ведь если, по-вашему, для Божества все равно, что сильный мерзавец под влиянием зверской страсти истребляет слабое существо, то ведь и подавно Божество ничего не может

иметь против того, чтобы под влиянием сострадания кто-нибудь из нас истребил мерзавца. Ведь не станете же вы защищать такую нелепость, что только убийство слабого и безобидного существа не есть зло перед Богом, а убийство сильного и злого зверя есть зло.

**К н я з ь.** Это вам кажется нелепостью потому, что вы не туда смотрите, куда следует: нравственно важно не то, кто убит, а то, кто убивает. Ведь вот вы сами назвали злодея зверем, то есть существом без разума и совести, — какое же может быть нравственное зло в его действиях?

**Д а м а.** Ай-ай! Да разве тут про зверя в буквальном смысле? Это все равно как если бы я сказала своей дочери: «Какие ты говоришь глупости, ангел мой!», а вы бы стали на меня кричать: «Что с вами? Разве ангелы могут говорить глупости?» Ай-ай, какой плохой спор!

**К н я з ь.** Извините, я отлично понимаю, что злодей назван зверем метафорически и что у этого зверя нет хвоста и копыт; но ясно, что про неразумность и бессовестность здесь говорится в буквальном смысле: не может же человек с разумом и совестью совершать такие дела!

**Г - [ н ] З.** Новая игра словами! Конечно, человек, поступающий по-зверски, теряет разум и совесть в том смысле, что перестает слушаться их голоса; но чтобы разум и совесть вовсе в нем не говорили, — это еще вам нужно доказать, а пока я продолжаю думать, что зверский человек отличается от нас с вами не отсутствием разума и совести, а только своей решимостью действовать им наперекор, по прихотям своего зверя. А зверь такой же точно и в нас сидит, только мы его обыкновенно на цепи держим, ну а тот человек, значит, спустил его с цепи и сам тянется за его хвостом; а цепь-то и у него есть, только без употребления.

**К н я з ь.** Вот именно. А если князь с вами не согласен, бейте его скорее его собственным прикладом! Да ведь если злодей есть только зверь без разума и совести, так ведь убить его — все равно что убить волка или тигра, бросившихся на человека, — это, кажется, и Обществом покровительства животных еще не запрещено.

**К н я з ь.** Но вы опять забываете, что, каково бы ни было состояние этого человека — полная ли атрофия разума и совести или сознательная безнравственность, если такая возможна, дело ведь не в нем, а в вас самих: у вас-то разум и совесть не атрофированы, и притом вы не хотите сознательно нарушать их требования, — ну так вы и не убьете этого человека, каков бы он ни был.

Г - [ н ] Z. Конечно, не убил бы, если бы разум и совесть мне это безусловно запрещали. Но представьте себе, что разум и совесть говорят мне совсем другое, и, кажется, более разумное и добросовестное.

К н я з ь. Это любопытно. Послушаем.

Г - [ н ] Z. И прежде всего разум и совесть умеют считать, по крайней мере до трех...

Г е н е р а л. Ну-тка, ну-тка!

Г - [ н ] Z. А потому разум и совесть, если не хотят фальшивить, не станут говорить мне два, когда на деле — три...

Г е н е р а л (*в нетерпении*). Ну-ну!

К н я з ь. Ничего не понимаю.

Г - [ н ] Z. Да ведь, по-вашему, разум и совесть говорят мне только обо мне самом да о злодее, и все дело, по-вашему, в том, чтобы я его как-нибудь пальцем не тронул. Ну а ведь по правде-то тут есть и третье лицо — и, кажется, самое главное — жертва<sup>17</sup> злого насилия, требующая моей помощи. Ее-то вы всегда забываете, ну а совесть-то говорит и о ней, и о ней прежде всего, и воля Божия тут в том, чтобы я спас эту жертву, по возможности щадя злодея; но ей-то я помочь должен во что бы то ни стало и во всяком случае: если можно, то увещаниями, если нет, то силой, ну а если у меня руки связаны, т о г д а только тем крайним способом — крайним с в е р х у, — который вы преждевременно указали и так легко сбросили, именно молитвою, то есть тем высшим напряжением доброй воли, что, я уверен, действительно творит чудеса, когда это нужно. Но какой из этих способов помощи нужно употребить, это зависит от внутренних и внешних условий происшествия, а безусловно здесь только одно: я должен помочь тем, кого обижают. Вот что говорит моя совесть.

Г е н е р а л. Прорван центр, ура!

К н я з ь. Ну, я от такой широкой совести отошел. Моя говорит в этом случае определеннее и короче: н е у б и й! — вот и все. А впрочем, я и теперь не вижу, чтобы мы сколько-нибудь подвинулись в нашем споре. Если бы я опять согласился с вами, что в том положении, которое вы выставляете, всякий, даже нравственно развитой и вполне добросовестный человек, мог бы под влиянием сострадания и не имея достаточно времени, чтобы дать себе ясный отчет в нравственном качестве своего поступка, мог бы допустить себя до убийства, — то что же опять-таки отсюда следует для главного-то нашего вопроса? Разве, повторяю, Тамерлан, или Александр Македонский, или лорд Кичинер<sup>18</sup> убивали и заставляли убивать людей для защиты слабых существ от покусавшихся на них злодеев?

Г - [ н ] З. Хотя сопоставление Тамерлана с Александром Македонским есть плохое предвещание для наших исторических вопросов, но так как вы вот уже второй раз нетерпеливо переходите в эту область, то позвольте мне сделать историческую ссылку, которая действительно поможет нам связать вопрос о личной защите с вопросом о защите государственной. Дело было в двенадцатом столетии, в Киеве. Удельные князья, уже тогда, по видимому, державшиеся ваших взглядов на войну и полагавшие, что ссориться и драться можно только «chez soi»<sup>19</sup>, не соглашались идти в поход против половцев, говоря, что им жалко подвергать людей бедствиям войны. На это великий князь Владимир Мономах<sup>20</sup> держал такую речь: «Вы жалеете смердов, а о том не подумаете, что вот придет весна, выедет смерд в поле...»<sup>21</sup>

Д а м а. Пожалуйста, без дурных слов!

Г - [ н ] З. Да ведь это из летописи.

Д а м а. А вы ее все равно наизусть не помните, так говорите своими словами. А то выходит как-то глупо: «придет весна» — ждешь: «зацветут цветы, запоют соловьи», и вдруг какой-то «смерд»!

Г - [ н ] З. Ну хорошо: «Придет весна, выедет крестьянин в поле с конем землю пахать. Приедет половчин, крестьянина убьет, коня уведет; наедут потом половцы большой толпой, всех крестьян перебьют, жен с детьми в полон заберут, скот угонят, село выжгут. Что же вы в этом-то людей не жалеете? Я их жалею, для того и зову вас на половцев». На этот раз пристыженные князья послушались, и земля отдохнула при Владимире Мономахе. Ну а потом они вернулись к своему миролюбию, избегавшему внешних войн, чтобы на досуге дома безобразничать, и кончилось для России монгольским игом, а для собственных потомков этих князей — тем угощением, которое поднесла им история в лице Ивана Четвертого<sup>22</sup>.

К н я з ь. Ничего не понимаю! То вы мне рассказываете такое происшествие, которое никогда ни с кем из нас не случилось и, наверное, не случится, то поминаете какого-то Владимира Мономаха, которого, может быть, вовсе не существовало и до которого нам, во всяком случае, нет никакого дела...

Д а м а. Parlez pour vous, monsieur!<sup>23</sup>

Г - [ н ] З. Да вы, князь, из Рюриковичей?

К н я з ь. Говорят; так что же, по-вашему, не интересоваться ли мне Рюриком, Синеусом и Трувором?<sup>24</sup>

Д а м а. По-моему, не знать своих предков — это все равно как маленькие дети, которые думают, что их в огороде под капустой нашли.

К н я з ь. Ну, а как же быть тем несчастным, у которых нет предков?

Г - [ н ] З. Есть у всякого, по крайней мере, два великих предка, оставивших в общее пользование свои подробные и очень показательные записки: отечественную и всемирную историю.

К н я з ь. Но не могут ли эти записки решать для нас вопрос о том, как нам теперь быть, что мы должны т е п е р ь делать! Пусть Владимир Мономах существовал действительно, а не в воображении только какого-нибудь мниха Лаврентия или Ипатия<sup>25</sup>; пусть даже он был превосходнейшим человеком и искренне жалел «смердов». В таком случае он был прав, что воевал с половцами, потому что в те дикие времена нравственное сознание еще не возвысилось над грубым византийским пониманием христианства и позволяло ради кажущегося добра убивать людей. Но как же нам-то это делать, раз мы поняли, что так как убийство есть зло, противное воле Божией, запрещенное издревле заповедью Божиею, то оно ни под каким видом и ни под каким именем не может быть нам позволительно и не может перестать быть злом, когда вместо одного человека убиваются под названием войны тысячи людей. Это есть прежде всего вопрос личной совести.

Г е н е р а л. Ну, если дело в личной совести, так позвольте вам доложить вот что. Я человек в нравственном смысле — как и в других, конечно, — совсем средний, не черный, не белый, а серый. Ни особенной добродетели, ни особенного злодейства не проявлял. И в добрых-то делах всегда есть загвоздка: никак не скажешь наверно, по совести, что тут в тебе действует, настоящее ли добро или только слабость душевная, привычка житейская, а иной раз и тщеславие. Да и мелко все это. Во всей моей жизни был только один случай, который и мелким назвать нельзя, а главное, я наверно знаю, что тут уже никаких сомнительных побуждений у меня не было, а владела мною только одна добрая сила. Единственный раз в жизни я испытал полное нравственное удовлетворение и даже в некотором роде экстаз, так что и действовал я тут без всяких размышлений и колебаний. И осталось это доброе дело до сих пор, да, конечно, и навеки останется, самым лучшим, самым чистым моим воспоминанием. Ну-с, и было это мое единственное доброе дело — убийством, и убийством немалым, ибо убил я тогда в какие-нибудь четверть часа гораздо более тысячи человек...

Д а м а. *Quelles blagues!*<sup>26</sup> А я думала, что вы — серьезно.

Г е н е р а л. Да, совершенно серьезно: могу свидетелей представить. Ведь не руками я убивал, не моими грешными руками,

а из шести чистых, непорочных стальных орудий, самую добродетельною, благотворною картечью.

Д а м а. Так в чем же тут добро?

Г е н е р а л. Ну конечно, хоть я не только военный, а по-нынешнему и «милитарист», но не стану же я называть добрым делом простое истребление тысячи обыкновенных людей, будь они немцы или венгерцы, англичане или турки. А тут было дело совсем особенное. Я и теперь не могу равнодушно рассказывать, так оно мне всю душу выворотило.

Д а м а. Ну, рассказывайте скорей!

Г е н е р а л. Так как я об орудиях упомянул, то вы, конечно, догадались, что было это в последнюю турецкую войну<sup>27</sup>. Я был при кавказской армии. После 3-го октября...

Д а м а. Что такое 3-е октября?

Г е н е р а л. А это было сражение на Аладжинских высотах, когда мы в первый раз «непобедимому» Гази-Мухтар-паше все бока обломали... Так после 3-го октября мы сразу продвинулись в эту азиатчину. Я был на левом фланге и командовал передовым разведочным отрядом. Были у меня нижегородские драгуны, три сотни кубанцев и батарея конной артиллерии. — Страна невеселая — еще в горах ничего, красиво, а внизу только и видишь, что пустые, выжженные села да потоптанные поля. Вот раз — 28-го октября это было — спускаемся мы в долину, и на карте значит-ся, что большое армянское село. Ну конечно, села никакого, а было действительно порядочное и еще недавно: дым виден за много верст. А я свой отряд стянул, потому что, по слухам, можно было наткнуться на сильную кавалерийскую часть. Я ехал с драгунами, казаки впереди. Только вблизи села дорога поворот делает. Смотрю, казаки подъехали и остановились как вкопанные — не двигаются. Я поскакал вперед; прежде чем увидел, по смраду жареного мяса догадался: башибузуки<sup>28</sup> свою кухню оставили. Огромный обоз с беглыми армянами не успел спастись, тут они его захватили и хозяйничали. Под телегами огонь развели, а армян, того головой, того ногами, того спиной или животом привязали к телеге, на огонь свесили и потихоньку поджаривали. Женщины с отрезанными грудями, животы вспороты. Уже всех подробностей рассказывать не стану. Только одно вот и теперь у меня в глазах стоит. Женщина навзничь на земле за шею и плечи к тележной оси привязана, чтобы не могла головы повернуть, — лежит не обожженная и не ободранная — явно от ужаса померла, — а перед нею высокий шест в землю вбит, а на нем младенец голый привязан — ее сын, наверное, — весь почерневший и с выкатившимися глазами, а подле и решетка с потух-

шими углями валяется. Тут на меня сначала какая-то тоска смертельная нашла, на мир Божий смотреть противно, и действую как будто машинально. Скомандовал рысью вперед, въехали мы в сожженное село — чисто, ни кола ни двора. Вдруг, видим, из сухого колодца чучело какое-то карабкается... Вылез, замазанный, ободранный, упал на землю ничком, причитает что-то по-армянски. Подняли его, расспросили: оказался армянин из другого села; малый толковый. Был он по торговым делам в этом селе, когда жители собрались бежать. Только что они тронулись, как нагрянули башибузуки, — множество, говорит, сорок тысяч. Ну, ему, конечно, не до счета было. Притаился в колодце. Слышал вопли, да и так знал, чем кончилось. Потом, слышит, башибузуки вернулись и на другую дорогу переехали. Это они, говорит, наверное, в наше село идут и с нашими то же делать будут. Ревет, руки ломает.

Тут со мною вдруг какое-то просветление сделалось. Сердце будто растаяло, и мир Божий точно мне опять улыбнулся. Спрашиваю армянина, давно ли черти отсюда ушли? По его соображению — часа три.

— А много ли до вашего села конного пути?

— Пять часов с лишком.

— Ну, в два часика никак не догонишь. Ах ты, Господи! А другая-то дорога к вам есть, короче?

— Есть, есть. — А сам весь встрепенулся. — Есть дорога через ущелья. Совсем короткая. Немногие и знают ее.

— Конному пройти можно?

— Можно.

— А орудиям?

— Трудно будет. А можно.

Велел я дать армянину лошадь, и со всем отрядом — за ним в ущелье. Как уж мы там в горах карабкались — я и не заметил хорошенько. Опять машинальность нашла; но только в душе легкость какая-то, точно на крыльях лечу, и уверенность полная: знаю, что нужно делать, и чувствую, что будет сделано.

Стали мы выходить из последнего ущелья, после которого наша дорога на большую переходила, — вижу, армянин скачет назад, машет руками: тут, мол, они! Подъехал я к передовому разъезду, навел трубку: точно — конницы видимо-невидимо; ну не сорок тысяч, конечно, а тысячи три-четыре будет, если не все пять. Увидали чертовы дети казаков — поворотили нам навстречу — мы-то им в левый фланг из ущелья выходили. Стали из ружей палить в казаков. Ведь-таки жарят, азиатские чудид-

ща, из европейских ружей, точно люди! То там, то тут казак с лошади свалится. Старший из сотенных командиров подъезжает ко мне:

— Прикажите атаковать, ваше превосходительство! Что ж они, анафемы, нас, как перепелок, подстреливать будут, пока орудия-то устанавливают. Мы их и сами разнесем.

— Потерпите, голубчики, еще чуточку, говорю. Разогнать-то, говорю, вы их разгоните, а какая ж в том сладость? Мне Бог велит прикончить их, а не разогнать.

Ну, двум сотенным командирам приказал, наступая врассыпную, начать с чертями перестрелку, а потом, ввязавшись в дело, отходить на орудия. Одну сотню оставил маскировать орудия, а нижегородцев поставил уступами влево от батареи. Сам весь дрожу от нетерпения. И младенец-то жареный с выкаченными глазами передо мной, и казаки-то падают. Ах ты, Господи!

Д а м а. Как же кончилось?

Г е н е р а л. А кончилось по самому хорошему, без промаха! Ввязались казаки в перестрелку и сейчас же стали отходить назад с гиком. Чертово племя за ними — раззадорились, уж и стрелять перестали, скачут всей оравой прямо на нас. Подскакали казаки к своим сажень на двести и рассыпались горохом кто куда. Ну, вижу, пришел час воли Божией. Сотня, раздайся! Раздвинулось мое прикрытие пополам — направо-налево, — все готово. Господи, благослови! Приказал пальбу батарее.

И благословил же Господь все мои шесть зарядов. Такого дьявольского визга я отродясь не слыхивал. Не успели они опомниться — второй залп картечи. Смотрю, вся орда назад шарахнулась. Третий — вдогонку. Такая тут кутерьма поднялась, точно как в муравейник несколько зажженных спичек бросить. Заметались во все стороны, давят друг друга. Тут мы с казаками и драгунами с левого фланга ударили и пошли крошить как капусту. Немного их ускакало — которые от картечи увернулись, на шашки попали. Смотрю, иные уж и ружья бросают, с лошадей соскакивают, амана запросили. Ну, тут я уж и не распоряжался — люди и сами понимали, что не до амана теперь, — всех казаки и нижегородцы порубили.

А ведь если бы эти безмозглые дьяволы после двух первых-то залпов, что были им, можно сказать, в упор пущены — сажень в двадцати-тридцати, если бы они вместо того, чтобы назад кинуться, на пушки поскакали, так уж нам была бы верная крышка — третьего-то залпа уж не дали бы!

Ну, с нами Бог! Кончилось дело. А у меня на душе — светлое Христово Воскресение. Собрали мы своих убитых — тридцать

семь человек Богу душу отдали. Положили их на ровном месте в несколько рядов, глаза закрыли. Был у меня в третьей сотне старый урядник, Одарченко, великий начетчик и способностей удивительных. В Англии был бы первым министром. Теперь он в Сибирь попал за сопротивление властям при закрытии какого-то раскольникового монастыря и истреблении гроба какого-то их почитаемого старца. Кликнул я его. «Ну, — говорю, — Одарченко, дело походное, где нам тут в аллилуях разбираться, будь у нас за попа — отпевай наших покойников». А для него, само собой, первое удовольствие. «Рад стараться, ваше превосходительство!» А сам, бестия, даже просиял весь. Певчие свои тоже нашлись. Отпели чин чином. Только священнического разрешения нельзя было дать, да тут его и не нужно было: разрешило их заранее слово Христово про тех, что душу свою за други своя полагают. Вот как сейчас мне это отпевание представляется. День-то весь был облачный, осенний, а тут разошлись тучи перед закатом, внизу ущелье чернеет, а на небе облака разноцветные, точно Божии полки собрались. У меня в душе все тот же светлый праздник. Тишина какая-то и легкость непостижимая, точно с меня вся нечистота житейская смыта и все тяжести земные сняты, ну прямо райское состояние — чувствую Бога, да и только. А как стал Одарченко по именам поминать новопредставленных воинов, за веру, царя и отечество на поле брани живот свой положивших, тут-то я почувствовал, что не многоглаголанье это официальное<sup>29</sup> и не титул какой-то, как вот вы изволили говорить, а что взаправду есть христоролюбивое воинство и что война, как была, так есть и будет до конца мира великим, честным и святым делом...

**К н я з ь** (*после некоторого молчания*). Ну а когда вы похоронили своих в этом светлом настроении, неужели совсем-таки не вспомнили о неприятелях, которых вы убили в таком большом количестве?

**Г е н е р а л**. Ну, слава Богу, что мы успели двинуться дальше, прежде чем эта падаль не стала о себе напоминать.

**Д а м а**. Ах, вот и испортили все впечатление. Ну можно ли это?

**Г е н е р а л** (*обращаясь к князю*). Да чего бы вы, собственно, от меня хотели? Чтобы я давал христианское погребение этим шакалам, которые не были ни христиане, ни мусульмане, а черт знает кто? А ведь если бы я, сойдя с ума, велел бы их в самом деле вместе с казаками отпевать, вы бы, пожалуй, стали меня обличать в религиозном насилии. Как же! Эти несчастные милашки при жизни черту кланялись, на огонь молились, и вдруг

после смерти подвергать их суеверным и грубым лжехристианским обрядам! Нет, у меня тут другая была забота. Позвал сотников и есаулов и велел объявить, чтобы никто из людей не смел на три сажени к чертовой падали подходить, а то я видел, что у моих казаков давно уже руки чесались пощупать их карманы, по своему обычаю, а ведь кто их знает, какую бы чуму тут напустили. Пропади они совсем!

**К н я з ь.** Так ли я вас понял? Вы боялись, чтобы казаки не стали грабить трупы башибузуков и не перенесли от них в ваш отряд какой-нибудь заразы?

**Г е н е р а л.** Именно этого боялся. Кажется, ясно.

**К н я з ь.** Вот так христолюбивое воинство!

**Г е н е р а л.** Казаки-то?! Сущие разбойники! Всегда такими и были.

**К н я з ь.** Да что, мы во сне, что ли, разговариваем?

**Г е н е р а л.** Да и мне что-то кажется неладно. Никак в толк не возьму, о чем вы, собственно, спрашиваете?

**П о л и т и к.** Князь, вероятно, удивляется, что ваши идеальные и чуть не святые казаки вдруг, по вашим же словам, оказываются сущими разбойниками.

**К н я з ь.** Да; и я спрашиваю, каким же это образом война может быть «великим, честным и святым делом», когда по-вашему же выходит, что это борьба одних разбойников с другими?

**Г е н е р а л.** Э! Вот оно что. «Борьба одних разбойников с другими». Да ведь то-то и есть, что с другими, совсем другого сорта. Или вы в самом деле думаете, что пограбить при okazji то же самое, что младенцев в глазах матерей на угольях поджаривать? А я вам вот что скажу. Так чиста моя совесть в этом деле, что я и теперь иногда от всей души жалею, что не умер я после того, как скомандовал последний залп. И ни малейшего у меня нет сомнения, что умри я тогда — прямо предстал бы перед Всевышним со своими тридцатью семью убитыми казаками и заняли бы мы свое место в раю рядом с добрым евангельским разбойником. Ведь недаром он там в Евангелии стоит.

**К н я з ь.** Да. Но только вы уж, наверное, не найдете в Евангелии, чтобы доброму разбойнику могли уподобиться только наши единоплеменцы и единоверцы, а не люди всех народов и религий.

**Г е н е р а л.** Да что вы на меня, как на мертвого, несете! Когда я различал в этом деле народности и религии? Разве армяне мне земляки и единоверцы? И разве я спрашивал, какой веры или какого племени то чертово отродье, которое я разнес картечью?

**К н я з ь.** Но вы вот и до сих пор не успели вспомнить, что это самое чертово отродье — все-таки люди, что во всяком че-

ловеке есть добро и зло и что всякий разбойник, будь он казак или башибузук, может оказаться добрым евангельским разбойником.

Г е н е р а л. Ну, разбери вас тут! То вы говорили, что злой человек есть то же, что зверь безответственный, то теперь, по-вашему, башибузук, поджаривающий младенцев, может оказаться добрым евангельским разбойником! И все это единственно для того, чтобы как-нибудь зла пальцем не тронуть. А по-моему, важно не то, что во всяком человеке есть зачатки и добра и зла, а то, что из двух в ком пересилило. Не то интересно, что из всякого виноградного сока можно и вино, и уксус сделать, а важно, что именно вот в этой-то бутылке заключается — вино или уксус. Потому что если это уксус, а я стану его пить стаканами и других угощать под тем же предлогом, что это из того же материала, что и вино, то ведь, кроме порчи желудков, я этой мудростью никакой услуги никому не окажу. Все люди — братья. Прекрасно. Очень рад. Ну а дальше-то что? Ведь братья-то бывают разные. И почему же мне не поинтересоваться, кто из моих братьев Каин и кто Авель? А если на моих глазах брат мой Каин дерет шкуру с брата моего Авеля и я именно по неравнодушию к братьям дам брату Каину такую затрещину, чтоб ему больше не до озорства было, — вы вдруг меня укоряете, что я про братство забыл. Отлично помню, поэтому и вмешался, а если бы не помнил, то мог бы спокойно мимо пройти.

К н я з ь. Но откуда же такая дилемма: или мимо пройти, или затрещину дать?

Г е н е р а л. Да третьего-то исхода чаще всего и не найдете в таких случаях. Вот вы предлагали бы молиться Богу о прямом вмешательстве, чтобы Он, значит, мгновенно и собственно десницей всякого чертова сына в разум привел, — так вы сами, кажется, от этого способа отказались. А я скажу, что этот способ при всяком деле хорош, но никакого дела заменить собою не может. Ведь вот благочестивые люди и перед обедом молятся, а жевать-то жуют сами, собственными челюстями. Ведь и я не без молитвы конною артиллерией-то командовал.

К н я з ь. Такая молитва, конечно, есть кощунство. Нужно не молиться Богу, а действовать по-Божьи.

Г е н е р а л. То есть?

К н я з ь. Кто в самом деле исполнен истинным духом евангельским, тот найдет в себе, когда нужно, способность и словами, и жестами, и всем своим видом так подействовать на несчастного темного брата, желающего совершить убийство или какое-нибудь другое зло, — сумеет произвести на него такое по-

трясающее впечатление, что он сразу постигнет свою ошибку и откажется от своего ложного пути.

**Г е н е р а л.** Святые угодники! Это перед башибузуками-то, что младенцев поджаривали, я, по-вашему, должен был проделывать трогательные жесты и говорить трогательные слова?

**Г - [ н ] З.** Слова-то по дальности расстояния и по взаимному незнанию языков были бы тут, пожалуй, вполне неуместны. А что касается до жестов, производящих потрясающее впечатление, то лучше залпов картечи, воля ваша, для данных обстоятельств ничего не придумаешь.

**Д а м а.** В самом деле, на каком языке и с помощью каких инструментов объяснялся бы генерал с башибузуками?

**К н я з ь.** Я вовсе не говорил, чтобы вот они могли подействовать по-евангельски на башибузуков. Я только сказал, что человек, исполненный истинного евангельского духа, нашел бы возможность и в этом случае, как и во всяком другом, пробудить в темных душах то добро, которое таится во всяком человеческом существе.

**Г - [ н ] З.** Вы в самом деле так думаете?

**К н я з ь.** Нисколько в этом не сомневаюсь.

**Г - [ н ] З.** Ну а думаете ли вы, что Христос достаточно был проникнут истинным евангельским духом или нет?

**К н я з ь.** Что за вопрос!

**Г - [ н ] З.** А то, что если я желаю знать: почему же Христос не подействовал силою евангельского духа, чтобы пробудить доброе, сокрытое в душах Иуды, Ирода, еврейских первосвященников и, наконец, того з л о г о разбойника, о котором обыкновенно как-то совсем забывают, когда говорят о его д о б р о м товарище?<sup>30</sup> Для положительного-то христианского воззрения непреодолимой трудности тут нет. Ну а вам чем-нибудь из двух уж непременно тут нужно пожертвовать: или вашу привычкой ссылаться на Христа и на Евангелие как на высший авторитет, или вашим моральным оптимизмом. Потому что третий, довольно-таки изъезженный путь — отрицание самого евангельского факта как позднейшей выдумки или «жреческого» истолкования, — в настоящем случае для вас совершенно закрыт. Как бы вы ни исказили и ни обрубали для своей цели текст четырех Евангелий, главное-то в нем для нашего вопроса останется все-таки бесспорным, а именно, что Христос подвергся жестокому преследованию и смертной казни по злобе своих врагов. Что Он сам оставался нравственно выше всего этого, что Он не хотел сопротивляться и простил своих врагов, — это одинаково понятно как с моей, так и с вашей точки зрения. Но почему же, прощая

своих врагов, Он (говоря вашими словами) не избавил их душ от той ужасной тьмы, в которой они находились? Почему Он не победил их злобы силою свой кротости? Почему Он не побудил дремавшего в них добра, не просветил и не возродил их духовно? Одним словом, почему Он не подействовал на Иуду, Ирода, иудейских первосвященников так, как Он подействовал на о д н о г о только доброго разбойника?<sup>31</sup> Опять-таки или не мог, или не хотел. В обоих случаях выходит, п о - в а ш е м у, что Он не был д о с т а т о ч н о проникнут истинным евангельским духом, а так как дело идет, если не ошибаюсь, о Евангелии Христовом, а не о чем-нибудь другом, то у вас оказывается, что Христос не был достаточно проникнут истинным духом Христовым, с чем я вас и поздравляю.

**К н я з ь.** Ну, соперничать с вами в словесном фехтовании я не стану, как не стал бы состязаться с генералом в фехтовании на «христололюбивых» шпагах...

*(Тут князь встал с места и хотел, очевидно, сказать что-то очень сильное, чтобы одним ударом, без фехтования, сразить противника, но на ближней колокольне пробило семь часов.)*

**Д а м а.** Пора обедать! И нельзя второпях оканчивать такой спор. После обеда наша партия в винт, но завтра непременно, непременно должен продолжаться этот разговор. *(К политику.)* Вы согласны?

**П о л и т и к.** На продолжение этого разговора? А я так обрадовался его концу! Ведь спор решительно принимал довольно неприятный специфический запах религиозных войн! Совсем не по сезону. А мне моя жизнь все-таки всего дороже.

**Д а м а.** Не притворяйтесь. И вы непременно, непременно должны принять участие. А то что это: растянулись каким-то действительным тайным Мефистофелем!<sup>32</sup>

**П о л и т и к.** Завтра, пожалуй, я согласен разговаривать, но только с условием, чтобы религии было поменьше. Я не требую, чтобы ее изгнать совсем, так как это, кажется, невозможно. Но только поменьше, ради Бога, поменьше!

**Д а м а.** Ваше «ради Бога» в этом случае очень мило!

**Г - [ н ] Z.** *(к политику.)* Но ведь лучшее средство, чтобы религии было как можно меньше, — это вам говорить как можно больше.

**П о л и т и к.** И обещаю! Хотя слушать все-таки приятнее, чем говорить, особенно в этом благорастворении воздушных, но для спасения нашего маленького общества от междуусобной брани, что могло бы отразиться пагубным образом и на винте, готов на два часа пожертвовать собою.

Д а м а. Отлично! А послезавтра — конец спора о Евангелии. Князь успеет приготовить какое-нибудь совсем непобедимое возражение. Только и вы должны присутствовать. Нужно же немного к духовным предметам приучаться.

П о л и т и к. Еще и послезавтра? Ну нет! Так далеко мое самопожертвование не идет, к тому же мне нужно послезавтра ехать в Ниццу.

Д а м а. В Ниццу? Какая наивная дипломатия! Ведь это бесполезно: ваш шифр давно разобран, и всякий знает, что когда вы говорите: «Нужно в Ниццу», то это значит: «Хочу кутить в Монте-Карло». Что ж? Послезавтра обойдемся и без вас. Погрязайте в материи, если не боитесь, что сами через несколько времени духом станете. Ступайте в Монте-Карло. И пусть Провидение воздаст вам по вашим заслугам!

П о л и т и к. Ну, заслуги мои касаются не Провидения, а только проведения необходимых мероприятий. А вот удачу и маленький расчет — это я допускаю — в рулетке, как и во всем другом.

Д а м а. Только завтра-то уж мы непременно должны собраться все вместе.

